

**Илья Герасимов, Сергей Глебов, Ян Кусбер,
Марина Могильнер, Александр Семенов**

НОВАЯ ИМПЕРСКАЯ ИСТОРИЯ И ВЫЗОВЫ ИМПЕРИИ*

Империя: эффект остранения

В 1917 г. основоположник российской школы формализма в литературоведении Виктор Шкловский ввел в оборот концепцию “остранения”. Остранение позволяет лучше разглядеть скрытую суть объекта путем его отчуждения, превращения знакомого в незнакомое, странное, непредсказуемое.¹ На примере ряда недавних исследований империи, которые условно можно назвать “новыми имперскими историями”, становится понятно, что этот механизм может работать и в обратном направлении: тонкий, вдумчивый, внимательный к нюансам анализ имперского контекста в результате воссоздает удивительно неожиданный, незнакомый и странный мир. С нашей сегодняшней точки

* Авторизованный перевод текста: Ilya Gerasimov, Sergey Glebov, Jan Kusber, Marina Mogilner, and Alexander Semyonov. *New Imperial History and the Challenges of Empire* // Ilya Gerasimov, Jan Kusber, and Alexander Semyonov (Eds.). *Empire Speaks Out: Languages of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire*. Leiden & Boston: Brill, 2009. Pp. 3-32.

Перевод И. Герасимова.

¹ Виктор Шкловский. *Искусство как прием* // Сборники по теории поэтического языка. Вып. 2. Петроград, 1917. С. 3-14.

зрения этот мир представляется иррациональным или, по крайней мере, подчиненным некой совершенно иной по типу рациональности. В этих работах империя проявляет себя через скрытые или неявные конфликты (*tensions*) и “скандал”; она производит “плотское знание” (*carnal knowledge*) и сама оказывается обретенной или завоеванной парадоксальным образом “по рассеянности” (*absent-mindedness*).² Общей темой новой литературы об империях прошлого, столь разнообразной во всех прочих отношениях, является как раз *остранение* империи как особого культурного контекста и социально-политического порядка. Этим новый подход в исследованиях империи резко отличается от традиции негативного определения империи по контрасту с современным нормативным социальным порядком национальных государств, который воспринимается как исторически неизбежный.³ Империя в этой старой логике определялась как неполноценная противоположность норме: исторический пережиток накануне триумфа “века национализма”, отклонение от магистрального пути исторического развития современного государства и общества; как воплощение стремления к всеобъемлющему контролю, торжествующему в серых зонах современной системы международных отношений и “бурлящих котлах” межэтнического соперничества в регионах вроде Балкан или Кавказа; как побочный продукт капиталистической экономики и буржуазного общества или, в крайнем случае, естественный инкубатор современных национальных государств, возникающих из этнической и региональной мозаики старых имперских конгломератов. Признавая империю полноправным историческим феноменом, современные историки сталкиваются с необходимостью передачи специфического имперского исторического опыта на языке сформировавшихся в XX веке современных пост- и антиимперских общественных наук. В то же время *остранение* имперского исторического опыта позволяет бросить свежий взгляд и на современную реальность, и чем яснее мы понимаем, что классические категории международных отношений, территори-

² Cp. Ann Laura Stoler and Frederick Cooper (Eds.). *Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World*. Berkeley, 1997; Nicholas Dirks. *Scandal of Empire. India and the Creation of Imperial Britain*. Cambridge, MA, 2006.

³ О традиции негативной концептуализации империи как аналитической категории см. И. Герасимов, С. Глебов, А. Каплуновский, М. Могильнер, А. Семенов. В поисках новой имперской истории // *Новая имперская история постсоветского пространства*. Казань, 2004. С. 7-29; Alexander Semyonov. *Empire as a Context Setting Category* // *Ab Imperio*. 2008. No. 1. Pp. 193–204.

ального государства, стандартизированной культуры и национальной экономики мало соответствуют условиям XXI века, тем более понятным и поучительным начинает казаться былой мир империй.⁴ Независимо от того, насколько оправданы такие параллели, их критический анализ требует пересмотра аналитического языка, который используется учеными для проецирования имперского исторического опыта на современные проблемы и запросы.

Империя: в поисках формулировки

Несмотря на недавний всплеск интереса к “империи”, она остается наименее рационализированной и критически осмысленной категорией современных общественных наук, особенно по сравнению с такими терминами, как “государство” или “нация”. Эти последние породили множество традиций концептуализации и толкования в политической теории, социальной мысли, разных культурных канонах. Современные попытки создания аналитической категории “империи” направлены, прежде всего, на объяснение беспрецедентной по масштабу мобильности капитала, товаров и населения, на интерпретацию перестройки системы международных отношений, связанной с установлением режима мировой гегемонии с претензиями на интервенционистскую политику, на описание процесса возникновения региональных держав наподобие Российской Федерации и эволюции таких политических форм, как Евросоюз, бросающих вызов историческому типу и идеалу национального государства. “Империя” используется для объяснения растущей взаимосвязанности мира, которая ведет к конвергенции при сохранении и воспроизводстве различий, зон разграничения и сегрегации. Таким образом, формирующаяся на наших глазах в исследовательской литературе категория “империи” ассоциируется с темами гегемонии, доминирования, взаимосвязанности и воспроизводства культурных, социальных и политических различий, получая очень разные и противоречивые толкования.⁵

⁴ Критика обращения к империи как к аналогии или метафоре современных политических процессов содержится в Craig Calhoun, Frederick Cooper, and Kevin W. Moore (Eds.). *Lessons of Empire: Imperial Histories and American Power*. New York, 2006. Pp. 1, 2.

⁵ Множественные и противоречивые коннотации концепции империи обнаруживаются при совмещении наиболее цитируемых недавних работ по теме, например Samuel N. Eisenstadt. *The Political Systems of Empire*. New York, 1963; Michael Doyle. *Empires*. Ithaca, NY, 1986; Michael Hardt and Antonio Negri. *Empire*. Cambridge, MA,

В исторических исследованиях индивидуальный феномен конкретной империи и кажущаяся самоочевидной описательная функция категории “империи” всегда мешали обобщению и теоретическому осмыслению “имперских формаций” (термин Энн Стоулер). Исторические нарративы империй структурировались тем или иным реальным прототипом из числа многочисленных великих империй прошлого, и каждая из них, по-своему уникальная, влияла на траекторию развития других имперских формаций. Особое влияние на организующие нарративы исторических исследований оказали сюжеты возникновения и распространения наследия классических империй древности, особенно Римской империи – архетипической для современного исторического воображения.⁶ Характерные черты Римской империи стали в глазах историков критерием “имперскости” других политических образований: разложение республиканских добродетелей и порядка; экспансионизм и притязания на охват всего “цивилизованного мира”; универсализм единого языка, культуры и гражданства в сочетании с пестротой многочисленных владений, в центре которых находится метрополия, представленная республикой (*civitas*) или военным вождем-правителем (*imperator*). Соперником Римской империи в имперских типологиях Старого света выступает империя чингизидов, которая оставила свой отпечаток на государственности России, Персии, державы Великих

2000; Ronald Grigor Suny. *The Empire Strikes Out: Imperial Russia, “National” Identity, and Theories of Empire* // Ronald Grigor Suny and Terry Martin (Eds.). *A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin*. Oxford, 2001; Dominic Lieven. *Empire. The Russian Empire and Its Rivals from the Sixteenth Century to the Present*. London, 2000; Linda Colley. *What Is Imperial History Now?* // David Cannadine (Ed.). *What Is History Now?* Basingstoke, UK, 2002. Pp. 132–147; Frederick Cooper. *Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History*. Berkeley, 2005; Nicholas Dirks. *Scandal of Empire. India and the Creation of Imperial Britain*. Cambridge, MA, 2006; Carole McGranahan, Peter C. Perdue, and Ann Stoler (Eds.). *Imperial Formations and Their Discontents*. Santa Fe, NM, 2007.

⁶ Lieven. *Empire*. Pp. 7–17; Anthony Pagden. *Peoples and Empires: A Short History of European Migration, Exploration, and Conquest, From Greece to the Present*. London, 2001. Pp. 1–12. Более развернутая аргументация приводится в Anthony Pagden. *Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France c.1500–c.1800*. New Haven, 1995. Ch. 1, “The Legacy of Rome,” и ch. 2 “*Monarchia Universalis*”; см. также краткое обоснование тезиса о том, что римские концепции “*orbis terrarum*” и правления могут применяться даже к первой Британской империи, pp. 5, 8. Проницательные наблюдения о роли римского наследия в выработке имперского суверенитета в истории российской монархии см. в Richard Wortman. *Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy*. Vol. 1. Princeton, 1995. Pp. 13–14, 26–27.

Моголов и Китая. Однако, несмотря на колоссальную территориальную протяженность и разнообразное наследие (в виде почтовой службы, системы налогообложения, религиозной терпимости или прагматизма), эта империя оказала ничтожное влияние на современное идеологическое конструирование феномена империи.⁷ Изобретение “Тартарии” в Европе раннего Нового времени сильнейшим образом повлияло на формирование европейских представлений о “деспотическом” и “вечном” Другом на Востоке, который ожидает открытия, классификации и рационализации.⁸

Хотя исторические исследования империй зависят от нарративов, основанных на классических прототипах, они также предлагают ана-

⁷ Хотя, без сомнения, монгольские образы политической власти сохранились в большой Евразии и соединились с греко-римским наследием (см. Michael Cherniavsky. *Khan or Basileus: An Aspect of Russian Mediaeval Political Theory* // *Journal of the History of Ideas*. 1959. Vol. 20. No. 4. Pp. 459–476), лишь недавно историки начали предпринимать попытки осмыслить наследие Монгольской империи в категориях особой политической традиции, совместимой с рефлексивной политической теорией. См. Stephen Kotkin. *Mongol Commonwealth? Exchange and Governance in Post Mongol Space* // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2007. Vol. 8. No. 3. Pp. 487–531; Джейн Бурбанк и Фредерик Купер. Имперские траектории // *Ab Imperio*. 2007. No. 4. Pp. 47–85; см. также Jan Kusber. “Entdecker” und “Entdeckte”: *Zum Selbstverständnis von Zar und Elite im frühneuzeitlichen Moskauer Reich zwischen Europa und Asien* // Renate Dürr, Gisela Engel, und Johannes Süßmann (Hgs.). *Expansionen in der Frühen Neuzeit*. Berlin, 2005. Pp. 97–115. О проблеме поиска рефлексивной политической традиции в монгольском имперском наследии см. диалог между Ричардом Уортманом и Андреасом Каппелером, воспроизведенный в А. Семенов. *Обзор работы международной конференции “История империи: сравнительные методы в изучении и преподавании”* // *Российская империя в сравнительной перспективе* / Под ред. М. Баталиной и А. Миллера. Москва, 2004. С. 20–21.

⁸ Иллюстрацию устойчивости ассоциации империи с восточным деспотизмом можно найти в Richard Pipes. *The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917–1923*. Cambridge, MA, 1997 (первоначально опубликовано в 1954 и в новой редакции в 1964). Пайпс пишет: “Империя России демонстрировала некоторые уникальные свойства. В отличие от западных колониальных империй, которые были отделены от метрополий океанами, она была территориально протяженной. Более того, российское господство распространялось на несколько европейских наций – поляков, финнов и три прибалтийских народа, что нарушало неписаное правило, согласно которому европейцы не завоевывают и не низводят до статуса колонии других европейцев” (Р. v). Хотя Пайпс признает сам, что у него был выбор аналитических категорий (“империя” или “многонациональное государство”), он выбрал “империю”, поскольку она лучше передавала деспотическую и неевропейскую природу российского и советского правления.

литический инструментарий для разграничения исторически сформировавшихся различий имперских формаций и закономерностей исторического процесса. Так, историки подчеркивают разницу между домодерными и модерными империями. Древние империи характеризуются наличием формализованной политической структуры, они основаны на завоевании, у них нет могущественных соперников в лице суверенных территориальных государств и национализма.⁹ Империи Нового времени рассматриваются как новые формы организации пространства и гегемонии, возникшие после Вестфальского мира и Французской революции. Они основаны на неформальном колониальном господстве, коммерческих связях и современной технологии.¹⁰ Этот тип империи оказывается вполне совместимым и даже взаимосвязанным с идеей суверенного национального государства, распространяющего военное и экономическое влияние за пределы своих границ.¹¹ Вводя современный принцип суверенитета в Европе, этот тип имперской политики одновременно предлагал разделенный или неполноценный суверенитет за пределами “цивилизованного” континента.¹²

Другая исследовательская типология основана на различении заморских и континентальных империй. Несмотря на явно геополитическое происхождение этой типологии, она фактически основана на предположении о технологическом и культурном превосходстве заморских империй, связанном с имевшимся у них опытом современной политической революции и наличием буржуазного общества – в общем, с их более современным характером (по сравнению с континентальными империями). Колониальные заморские империи до последнего времени служили историкам образцом имперского господства передовых европейских

⁹ John H. Elliott. *A Europe of Composite Monarchies* // *Past and Present*. 1992. No. 137. Pp. 48–71; Pagden. *Lords of All the World*; David Armitage. *The Ideological Origins of the British Empire*. Cambridge, 2000; Susan E. Alcock et al. (Eds.). *Empires*. Cambridge, 2001.

¹⁰ Ann Laura Stoler and Frederick Cooper (Eds.). *Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World*. Berkeley, 1997. Pp. 1–56; Kathleen Wilson (Ed.). *A New Imperial History: Culture, Identity, and Modernity in Britain and the Empire, 1660–1840*. Cambridge, New York, 2004.

¹¹ Linda Colley. *Britons: Forging a Nation, 1707–1837*. New Haven, 1992. Подробнее об одновременности и взаимозависимости процессов построения империи и нации см. Colley. *Britishness and Otherness: An Argument* // *Journal of British Studies*. 1992. Vol. 31. No. 4. Pp. 309–329.

¹² Edward Keene. *Beyond the Anarchical Society: Grotius, Colonialism and Order in World Politics*. Cambridge, 2002.

держав над периферией колоний. Тем самым оппозиция “модерного / домодерного” проецировалась на дихотомию континентальных / заморских империй. Исторический опыт колониальных империй породил богатую традицию критического анализа в сфере постколониальных исследований, сосредоточивших внимание на дискурсах и культурных практиках исключения, доминирования и контроля, а также формах производства знания о колониализме.

Новая волна исторических исследований, появившихся после распада многонациональных государств, таких как СССР и Югославия в конце XX века, привела к открытию иного исторического типа империй в Центральной Европе и Евразии (Османской, Габсбургской, Российской, а также СССР). Этот тип территориально-протяженных, или континентальных, империй характеризуется более пористыми границами и менее четкими отличиями между имперским центром и периферией, династической и недемократической формой правления в сочетании с режимами подданства и дифференцированного гражданства, а также полиэтничным составом населения. В империях этого типа общее пространство оспаривается разными национальными движениями и версиями национального воображения.¹³ Новый этап имперских исследований во многом осложнил казавшуюся прежде самоочевидной аналитическую дихотомию современных/архаических и заморских/континентальных империй. Течение, которое можно назвать “ревизионистскими постколониальными исследованиями”, релятивизировало прежние представления о фиксированности границ между метрополией и колониальной периферией в Британской, Французской, Испанской, Португальской и Голландской империях и даже о непроницаемости расово детерминированной преграды между колонизатором и колонизированным. В своих недавних исследованиях Фредерик Купер и Джереми Эдельман перенесли фокус с изучения структур неформального доминирования в колониальных империях на формы правления, гражданства и долговременного формообразующего влияния на французскую и иберийские империи, а также на политические и социальные пространства, возникшие на их основе.¹⁴ На другом полюсе прежней

¹³ Lieven. *Empire*; Karen Barkey and Mark von Hagen (Eds.). *After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman and Habsburg Empires*. Boulder, CO, 1997; Suny and Martin. *A State of Nations*; Alexander J. Motyl. *Imperial Ends: The Decay, Collapse, and Revival of Empires*. New York, 2001; Alexei Miller and Alfred J. Rieber (Eds.). *Imperial Rule*. Budapest and New York, 2005.

¹⁴ Cooper. *Colonialism in Question*. Pp. 204–230; Jeremy Adelman. *Sovereignty and Revolution in the Iberian Atlantic*. Princeton, 2006. См. также глубокие комментарии

бинарной схемы находятся Габсбургская, Российская и Османская империи, наряду с весьма неоднозначными случаями СССР и Китая, чья “имперскость” до сих пор вызывает споры. Они все чаще рассматриваются как динамичные модернизирующиеся имперские политии, подверженные влиянию расового дискурса, ориентализма, современной политики и идеологии, а также техникам социальной инженерии. Предлагаемый вниманию читателей сборник статей направлен на критику шаблонной категоризации Российской империи как континентальной, отсталой, контролируемой элитой патриархальной политики. Напротив, нами подчеркивается укорененность современной исторической динамики в имперской истории России. История “сибирской нейтральной полосы контакта” (“Siberian middleground”), рассказанная Сергеем Глебовым, рисует картину коммерческой империи XVII века, фундаментального воздействия просвещенческих техник управления и вклада Православной Церкви в формирование современной культуры и субъективности. Сходным образом представляемая Яном Кусбером история екатерининского правления опровергает стереотипные представления о “долгом семнадцатом веке” и подчеркивает разрывы в преемственности управления и культурного производства индивидуализированных субъектов империи. Прежняя историографическая аксиома о доминировании особых категорий национальности и этничности в политике и производстве знания в Российской империи с очевидностью требует пересмотра в свете пионерского исследования Марины Могильнер, посвященного истории физической антропологии и расиализирующих дискурсов различия во второй половине XIX и начале XX веков. Политическая история польской эмиграции и российской либеральной альтернативы вносит важную коррективу в политическую историю империи, которая традиционно пишется сверху вниз, с точки зрения монархии, имперского правительства и аристократической элиты. Главы, написанные Александром Семеновым и Хансом-Кристианом Петерсеном, подчеркивают важность современного идеологического производства, революционного опыта трансформации старого режима и его общества и визионерской политики будущего. Многогранное измерение имперского опыта реконструируется в главе Ильи Герасимова, который на место упрощенной картины провалившейся модернизации в контексте отсталой Российской империи предлагает иную модель

Доминика Ливена по поводу предполагаемой природы этих типологий, общих характеристик и комплексного взаимовлияния исторических империй, вызванных межимперским соперничеством (Lieven. *Empire*. Pp. 4, 5, 120–127).

социальности и социальных изменений в культурно разделенном обществе.

В то время как старое всеобъемлющее понятие континентальной империи оказывается под вопросом, Энн Стоулер также показывает, что сама логика типологического деления империй, основанная на контрасте с моделью западного колониализма, воспроизводит дискурс исключительности, который был неотъемлемой частью имперской стратегии “политики сравнения”, легитимации и разрешения “скандала империи”.

Топография имперских исследований: российское направление

Новый этап осмысления российской истории через призму истории империи начался в начале 1990-х годов. После распада Советского Союза и появления на его обломках новых национальных государств и национальных историографий историки столкнулись с необходимостью замены гомогенизирующего нарратива прошлого России как национального государства более сложной моделью, которая включала бы в себя и опыт других формирующихся наций.¹⁵ Дискредитация советской концепции “многонационального государства” и соблазнительное удобство и внешняя самоочевидность исторического тропа “империи” обеспечили быстрое развитие российских “имперских исследований”. Независимо от того, воспринимали ее “тюрьмой народов” или процветающей державой, отныне Россия стала изучаться как империя в максимально широком смысле слова, то есть как огромное государство, господствующее над разношерстным населением и осуществляющее амбициозную внешнюю политику. Эта ранняя стадия переоценки российской истории как “имперской” оставалась всецело в рамках нациецентричного подхода: хотя сама Россия больше не воспринималась как единая нация (и потому называлась “империя”), ее видели состоящей из отдельных наций, развивающихся по типичному сценарию национального пробуждения – освободительного движения – политического самоопределения. Этнические русские в этом отношении ничем не отличались от остальных, разве что были менее удачливы.¹⁶

¹⁵ Андреас Каппелер предложил концепцию “многонародной империи” в Andreas Kappeler. *Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung—Geschichte—Zerfall*. München, 1992.

¹⁶ See Geoffrey Hosking. *Russia: People and Empire, 1552–1917*. Cambridge, MA, 1997.

Интересно отметить, что существовавшие к тому времени модели колониальных империй, разработанные специалистами по британской и всемирной истории, весьма неохотно воспринимались историками, занятыми созданием новой имперской парадигмы в российском контексте. Можно найти много объяснений (как институционального, так и идеологического характера) низкой популярности колониальной теории среди историков Российской империи, но одно существенное исключение из правила проливает свет на эту методологическую дилемму девяностых годов. Сборник “Российский Восток: Окраины и народы империи, 1700 – 1917 гг.”, вышедший в 1997 г., представлял собой явную попытку переописать царскую Россию в терминах колониальной державы, навязывающей отношения метрополии и колоний своим покоренным территориям.¹⁷ Хотя сборник сам по себе оказался важнейшим историографическим событием, оказав влияние на формирование исследований Центральной Азии и Кавказа на много лет вперед, за ним не последовало сколько-нибудь сопоставимых по масштабу попыток систематичного сравнения опыта Российской империи с Британской или любой другой заморской империей. Вероятно даже, что выход этого сборника затормозил дальнейшие методологические поиски в этом направлении. Как коллективный исследовательский проект “Российский Восток” преуспел в выявлении колониальных отношений доминирования и политизации различий в российской истории, но столкнулся с трудностями при попытке пространственного представления этих отношений и идентификации конкретных фигур “колонизаторов” и “колонизуемых”. Кавказ, а еще больше Центральная Азия кажутся идеальными кандидатами на роль колонии, но тогда где проходят границы и какова природа метрополии? Сибирь, Балтийский регион, Польша и Украина – все они фигурировали в качестве жертв имперского господства в недавней историографии. В то же время население этих регионов империи мало соответствует нормативному образу колонизатора – *Nomo Europaeus*. Соответственно, ряды колонизаторов ограничивались кучкой высших сановников, которые зачастую сами не были этническими русскими. Таким образом трансфер западной колониальной теории наталкивался на проблему невозможности концептуализации империи через нациецентричный метанарратив. Пока империя интерпретировалась через призму борьбы за власть между

¹⁷ Daniel R. Brower and Edward J. Lazzerini (Eds.). *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917*. Bloomington, 1997. Pp. xiv–xv.

господствующей и колонизируемой “нациями”, она оставалась эфемерным концептом, скорее риторической фигурой.

Смена парадигмы наметилась на стыке тысячелетия: скандальные крайности новых национальных историографий,¹⁸ методологические новации постколониальных исследований и исследований национализма, а также расширение транснациональных форм суверенитета (прежде всего Евросоюза) способствовали ослаблению нациецентричного исторического нарратива. Среди историков бывшего Советского Союза возникло растущее понимание, что “империя” больше не может изучаться просто как совокупность ряда “наций”. Ощущалась необходимость определения Российской империи как самостоятельного феномена, однако для подобного описания и объяснения имперского прошлого не существовало готовой аналитической рамки и языка.

Поиск нового подхода к имперской истории велся по разным направлениям и занял много лет. Характерно, что в 2007 году почти одновременно вышло в свет несколько сборников статей, подводящих итоги смены парадигм в имперских исследованиях российской истории. Поучительно хотя бы кратко остановиться на самых важных из них, чтобы увидеть основные тенденции в новейшей историографии и оценить успешность происходящего “имперского поворота”.¹⁹

Наиболее буквальную и последовательную попытку теоретического обоснования имперских исследований предприняли японские историки. Кимитака Мацузато, во многом благодаря которому Япония заняла заметное место в международных исследованиях Российской империи, выступил редактором и составителем сборника с амбициозным названием: “Имперология: от эмпирического знания к обсуж-

¹⁸ Демонстрируя ужасающий политически мотивированный примордиализм, историки в постсоветских странах прослеживали эволюцию “извечного национального тела” на протяжении веков и даже тысячелетий, выводя русских от этрусков и находя татар в эпоху палеолита. Cp. Victor A. Shnirelman. *Who Gets the Past? Competition for Ancestors among Non-Russian Intellectuals in Russia*. Washington, DC, 1996; Национальные истории в советском и постсоветских государствах / Под ред. К. Аймермахера и Г. Бордюгова. Москва, 1999; Serhy Yekelchuk. *Ukraine: Birth of a Modern Nation*. Oxford, 2007. Pp. 14–15.

¹⁹ В том же году Американская ассоциация развития славистских исследований (AAASS) впервые ввела формат общей темы для своих ежегодных конференций. Первая же тема была посвящена воспроизводству империи (XXXIX ежегодная конференция AAASS). Это являлось признанием резко возросшей популярности всего “имперского” среди специалистов по региону бывшего СССР.

дению Российской империи”.²⁰ Само название сборника выдает его цель – предложить новую теорию империи как особой политической формации (“империологию”). Очевидно сильное влияние политологического подхода на эту версию “империологии”: предполагается, что теория будет синтезирована на основании ряда эмпирических исследований (*case studies*), которые выявят некие стабильные структурные элементы и закономерности в накопленном фактическом материале.²¹ В ряду таких теоретических новшеств можно назвать предложение Мацузато заменить “бинарную схему” центр – периферия “троичной”, включающей имперский центр, “аристократические/доминирующие нации” и “крестьянские/угнетаемые” нации региона. Характерно, что в то время как троичная схема подается как аналитическая модель, “нации” рассматриваются как самоочевидные и вполне статичные сущности. Эта совокупность “весомых акторов” анализируется на фоне “макрорегионов”, таких как Волго-Уральский, Левобережная Украина, Западные и Остзейские губернии, Степь, Западная и Восточная Сибирь. Мацузато полагает, что все перечисленные регионы “обладали относительно автономной историей” (а потому особой генеалогией и четкими границами), а взаимодействие между самими регионами и между ними и имперским правительством определяло особенности имперского правления. Таким образом, мы видим, что ускользающее понятие “империи” фиксируется в этом подходе через комбинацию аналитических моделей политологии и эссенциалистских категорий геополитики (ср. произвольно выделенные “регионы” как субъекты исторического процесса и участники политического взаимодействия) в сочетании с фиксированными национальными идентичностями.

Иной взгляд на пространственную составляющую “имперскости” России представлен авторами многотомной серии “Окраины Российской империи”.²² Написанная группой историков с международной репутацией, эта серия, подобно сборнику по империологии, главное внимание уделяет структурам и практикам имперского управления

²⁰ Kimitaka Matsuzato (Ed.). *Imperiology. From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire*. Sapporo, 2007.

²¹ Мацузато формулирует цель сборника как “обобщение накопленных эмпирических исследований и выведение широко применимых теорий из этих исследований” (Р. 4).

²² Западные окраины Российской империи / Под ред. М. Д. Долбилова и А. И. Миллера. Москва, 2007; Сибирь в составе Российской империи / Под ред. Л. М. Дамешека, А. В. Ремнева и др. Москва, 2007; Северный Кавказ в составе Российской империи / Под ред. В. О. Бобровникова и И. Л. Бабич. Москва, 2007.

и взаимозависимости имперского центра и регионов. Однако в этом проекте регионы не являются продуктами современного геополитического мышления, а выступают в качестве исторических категорий, выразивших себя через нарративы самоописания и саморепрезентации, включая обоснование собственных границ. Продуктивность такого анализа заключается в корректировке нациецентричного и руссоцентричного фокуса современной историографии постсоветского пространства. Тем не менее решение редакторов серии следовать за историческим языком организации пространства и сосредоточиться на аппарате династической и бюрократической империи привело к односторонней реконструкции этого пространства, транслирующей точку зрения имперского центра. Несмотря на множество глубоких наблюдений и широту охвата материала, подробно раскрывающего стоявшие перед правительством проблемы или историю зарождения современных национальных проектов, схема, на которой покоится выбранный составителями подход к прошлому – то есть разграничение имперского пространства на имперский центр и окраины – остается необоснованной. В серии нет тома, посвященного имперскому центру, как будто этот центр реконструируется путем простого перечисления “окраин”. Между тем, образ имперского центра неизбежно возникает в проекциях с разных окраин, представленных в серии, совпадая то с династическим режимом, то с национализирующим проектом “большой русской нации”, то с буржуазной колониальной властью. Эта неустойчивость и изменчивость репрезентации центра в империи ставит под вопрос его кажущуюся историческую данность и, соответственно, выбранную редакторами серии схему описания имперского опыта. Более того, подход авторов серии к империи как к *структуре* режима управления и социально-политического пространства неизбежно сводит объяснение всей динамики исторических процессов в этом пространстве к возникновению современного национализма (русского и нерусского). Остается открытым вопрос о том, является ли империя содержательной категорией для исследования феноменов воспроизводства асимметрии власти и дифференцированного пространства в условиях современности.²³ Хотя, в отличие от “Империологии”, серия “Окраины Российской империи” различает историческую реальность континентальной империи и современную политическую карту возник-

²³ В некоторых томах серии, например, посвященных Западным окраинам и Сибири, доказывается, что империя “отмирала” с приходом национализма и проектов национального строительства в модерный период.

ших на ее территории национальных государств, эта историческая реальность оказывается заложницей концептуальных схем, порожденных рефлектирующими историческими акторами прошлого. В тот самый момент, когда исторические акторы начинают определять окраины в иных категориях, проводя границы по-новому или создавая иную таксономию регионов, вся реконструкция империи, осуществленная современными историками, начинает разваливаться. Отдаваясь на милость тропам географической классификации и концептуализации, заимствованным в прошлом, современные историки оказываются не в состоянии осмыслить историчность (*historicity*) империи (в смысле подхода Р. Козеллека) как полномасштабную аналитическую категорию.

Редакторы сборника “Российская империя: пространство, люди, власть, 1700–1930 гг.” (вышел в издательстве Индианского университета в 2007 г.) осознают, как трудно проложить методологически сбалансированный курс между Сциллой нарративов самоописания, созданных историческими акторами прошлого, и Харибдой нормативных абстрактных моделей, которые мы примеряем на прошлое. Они также считают основной чертой империи именно ее территориальную структуру, а не какую-то форму группности,²⁴ однако предлагают три взаимосвязанных понимания территории. Во-первых, это историческая и физическая география имперского управления и социальных отношений; во-вторых, пространственное измерение дискурса и практик империи, ее агентов и подданных; в-третьих, воображаемая география имперской политики и идеологии. Более того, сборник предлагает двойственный взгляд на империю как на историческую структуру и одновременно пространство социального опыта, принимая во внимание и форму государственности, и систему социальных отношений. Ключом к этому определению является формула “дифференцированное управление дифференцированным населением”.²⁵ Джейн Бурбанк, Марк фон Хаген и другие участники сборника подчеркивают неопределенность или неравномерность различий, нашедших отражение в воображении,

²⁴ Jane Burbank, Mark von Hagen, and Anatolyi Remnev (Eds.). *Russian Empire: Space, People, Power, 1700–1930*. Bloomington, 2007. Авторы введения утверждают “плодотворность выбора отправной точкой территории, а не населения и его предполагаемых типов лояльности. Большинство империй представляют комплексные и несопадающие переkreщивания этничности и религии на данной территории. Начиная наше изучение империи с категорий этничности, религии или национальности, мы тем самым приписываем такие свойства людям и их стремлениям, которые они сами могли бы и не выбрать.” (Р. 21).

²⁵ *Ibid.* Р. 25.

политике и структуре отношений и идентичностей. Определяющее свойство Российской империи, по их мнению, было сформировано процессом имперской экспансии и столкновением имперской власти с разнообразными формами различий, которые превратились в “привычку мысли” и гибкую систему множественных смысловых контекстов.²⁶ Однако это глубокое определение релятивизирует изначальный фокус на территории и территориальности как основной рамке восприятия и понимания империи. Предложенная система множественности смысловых контекстов как характеристика специфически имперского режима управления и идентичности включает, кроме прочего, ссылку на такие внетерриториальные формы группности, как конфессия и сословие. При внимательном прочтении размышлений Бурбанк и фон Хагена обнаруживается, что территория и территориальность создавали лишь один из множества семантических пластов в идеологии и практике империи и должны восприниматься именно в этом качестве, а не в роли основы изучения имперского разнообразия.

Таким образом, индианский сборник зафиксировал важную развилку в парадигмальном повороте последних лет: одно направление исследований (представленное сборниками, изданными в Саппоро и Москве) сосредоточивается на наиболее стабильных структурных элементах “империи”, таких как организация территории. Эпистемологическая уязвимость этого подхода, о которой кратко говорилось выше, заставляет наиболее внимательных исследователей релятивизировать свои пространственные модели и усложнять их, в конце концов подрубая саму идею структурных констант. Другое направление поиска, как показывает индианский сборник, обращается к империи как мыслительному конструкту или системе мышления, включающим в себя различные типы человеческого и пространственного разнообразия. С одной стороны, удастся преодолеть телеологию исторического развития от империи к нации и утвердить определение империи как формы государства, основанного на различиях, а не на сходстве. Но, с другой стороны, хотя такое определение порывает с инерцией национализма, оно по-прежнему всецело зависит от концепции государства. Остается неясным, в какой степени империя совместима с определением государства как институционализированной формы публичной власти, обладающей монополией на легитимное насилие. Коль скоро империя определяется как устойчивая и воспроизводящаяся государственная

²⁶ Ibid. Pp. 16, 7, 17.

форма, национальное государство начинает восприниматься как почти несуществующее, “исторический раритет, нечто невероятное”.²⁷ Исключение национализма из аналитического уравнения непреднамеренно приводит к недооценке силы воздействия этого “разрушительного идеала” и в итоге – самой роли исторического агента в конструировании смыслов и создании исторической динамики на фоне структуры территориально очерченного разнообразия.

Другая заметная тенденция в современных исторических исследованиях Российской империи, релятивизирующая константы имперского разнообразия и подрывающая претензии на универсальность описания этого разнообразия через национальность или территорию, представлена историками религии и конфессиональной политики.²⁸ Эти исследователи переносят внимание с “формальной конфигурации” Церкви на местные практики и институционализацию религиозности, а также на имперские аспекты изучения религии в российской истории. Возникающая картина конфессиональной политики и религиозных идентичностей демонстрирует важную роль религии в культурных и социальных процессах и в подержании разнообразия империи в эпоху модернизации и национализма. Исходя из этого, Роберт Круз предлагает концепцию “конфессионального государства” как метарамку для изучения его разнообразия, а Пол Верт утверждает, что “культурное разнообразие евразийских империй... упорядочивалось и институционализировалось при помощи конфессиональных критериев.”²⁹ Хотя применимость конфессиональной сетки для объяснения разнообразия в эпоху массовой политики и столкновений по поводу национального строительства нуждается в обосновании, предлагаемый упор на

²⁷ Ibid. P. 2.

²⁸ Robert Geraci and Michael Khodorkovsky (Eds.). *Of Religion and Empire. Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia*. Ithaca, NY, 2000; Paul W. Werth. *At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia's Volga-Kama Region, 1827–1905*. Ithaca, NY, 2002; Sergei I. Zhuk. *Russia's Lost Reformation: Peasants, Millennialism, and Radical Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830–1917*. Baltimore, 2004; Nicholas B. Breyfogle. *Heretics and Colonizers: Forging Russia's Empire in the South Caucasus*. Ithaca, NY, 2005; Михаил Долбилов и Дариус Сталюнас. “Обратная уния”: проект присоединения католиков к православной церкви в Российской империи (1865–1866 гг.) // *Славяноведение*. 2005. № 5. С. 3–34; Robert Crews. *For Prophet and Tsar, Islam and Empire in Russia and Central Asia*. Cambridge, MA, 2006.

²⁹ Paul Werth. *Imperialism and Religion. Some Thoughts on a Research Agenda* // *Mat-suzato. Imperialism*. Pp. 51–67.

религию, религиозность и конфессию подчеркивает несводимость религиозного и конфессионального разнообразия к территориальной и национальной гетерогенности, тем самым еще более усложняя задачу выработки устойчивого структурного определения империи.

Таким образом, недавние исторические исследования Российской империи продемонстрировали ограниченную продуктивность поисков объективирующих маркеров “имперскости”, будь то структура отношений центра–периферии, система имперского управления или организация территорий. Мы предлагаем извлечь урок из этого “когнитивного расстройствa” имперских исследований, сосредоточившись на исторической рефлексии по поводу империи и последовательном развитии когнитивного поворота в осмыслении империи как пространства различий и разнообразия.

Новая имперская история: империя и когнитивный поворот

Наша книга углубляет критический анализ феномена империи через когнитивный поворот к империи как категории анализа и контекстообразующей системе языков самоописания имперского опыта. Этот когнитивный поворот в осмыслении империи созвучен предложенному Роджерсом Брубейкером когнитивному повороту в области исследований национализма. Нам важно подчеркнуть эпистемологический вызов, связанный с попыткой теоретизации империи как аналитической категории, применимой для объяснения как прошлого, так и настоящего. Эти эпистемологические нюансы кажутся особенно важными на фоне нынешнего спроса на универсальное определение империи как со стороны социальных наук с их обобщающим подходом, так и со стороны глобализированного общественного мнения. С нашей точки зрения, поиск такой универсальной метакатегории приводит к семантически избыточному определению империи как государственной формы, приспособленной для контроля обширного пространства и управления различиями. Такое определение имеет весьма ограниченный потенциал критического осмысления и исторического остранения империи. Другая разновидность этого подхода концептуализирует империю как историческую предтечу современных структур гегемонии, неравенства и конфликта. Мы же предлагаем сосредоточиться на имперском опыте, то есть реальном или семантически сконструированном столкновении с различиями, и на тех аспектах неравенства и дисбаланса власти, с которым это столкновение обычно

связано.³⁰ Различия как норма социально-политической реальности и их восприятие оказываются в центре нашего проекта изучения истории Российской империи и наших размышлений о потенциале империи как критической аналитической категории.

В качестве отправной точки мы выбираем не саму историческую структуру политических, социальных и культурных различий, а момент сигнификации, семиотического маркирования этих различий. Такой подход расширяет наше представление о природе империи путем “денатурализации” (термин Рональда Суни) ее политической и семантической реальности. Тем самым удается избежать опасности “реализма империи”, то есть восприятия империи в большей степени как реальной и устойчивой исторической структуры, чем в качестве “разрушительного, неосуществимого идеала” национального государства. Опасность реализма империи в нашей области исследований трудно переоценить. Под влиянием конструктивистских теорий национализма произошла “денатурализация” нации и национального государства. Империя может занять ставшее вакантным место основополагающего элемента исторического процесса. Растущее разочарование в нормативной культурной и политической унификации может привести к неожиданному эффекту романтизации былого имперского разнообразия. Стремление к универсальному определению империи в сочетании с расхожей идиомой имперского архаизма способствуют ее эссенциализации. Как нигде отчетливо эта тенденция проявляется в исторических исследованиях “периферийных империй”, когда нарратив отсталости и инаковости переплетается с негативными или по-

³⁰ Этот подход был во многом предвосхищен в капитальном двухтомном исследовании российской монархии Ричарда Уортмана. Уортман предложил новый взгляд на понимание роли империи и имперского суверенитета в российской истории, не сводящий империю к нормативному концепту государства и институциональной структуры управления. Его концепции “сценариев власти” и “политического мифа” незаменимы для понимания специфики имперского суверенитета в российском контексте и с точки зрения исторической семантики. Уортмановская история российской монархии показывала несводимость имперской мифологии (еще одного ключевого языка самоописания в империи) к нормативному концепту идеологии и объясняла, каким образом имперская система приспособлялась к динамическим контекстам и вызовам современности (Richard Wortman. *Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy*. Vol. 2 [Princeton, 2000]. Pp. 10–15). Уортман создал “остраненный” образ имперской власти, основанной на эпосе и “риторической правде” и оказавшейся плохо совместимой с “расколдованным” (термин Макса Вебера) миром современной рациональности, идеологии и политики (vol. 1. P. 9; vol. 2. Pp. 8, 15).

зитивными оценками “имперского предназначения” или “имперского проклятия”.

Когнитивный подход к империи также помогает разобраться с концепцией империи как идеального типа, противоположного “нации”. Согласно общепринятому мнению, “нация” предполагает позицию, направленную на воспроизводство однородности, а империя является инструментом воспроизводства различий.³¹ Эта схема упускает из вида взаимозависимость производства подобия и инаковости, на которую часто указывали теоретики национализма (включая Эрнста Геллнера, Бенедикта Андерсона и Роджерса Брубейкера). Со времен позднего Просвещения и Гердера романтики-националисты не только восхваляли органичность и целостность своих наций, но также указывали на вездесущность различий в человеческом обществе. Среди главных идиом национализма на европейской периферии мы находим критику угрожающей “Европы” и ее “модерности” и стремление защититься от них. Преобладающий сценарий развития “неисторических наций” Восточной и Центральной Европы включает в себя дистанцирование от гомогенизирующих проектов “исторических наций” и национализирующих имперских режимов, в то время как в Германии и России поиск духовной целостности нации сочетался с отстаиванием особого исторического пути (*Sonderweg*). Действительно, как пронизательно отмечает Роджерс Брубейкер, вопрос заключается не в производстве различий, а в типе различия.

Описывая ситуацию, которую он назвал “недоразумением в восприятии карты Модильяни”, Брубейкер комментирует известную метафору Эрнста Геллнера, сравнивавшего воздействие национализма на социальную реальность с художественным стилем Модильяни. Брубейкер пишет, что:

Пространственный аспект этой репрезентации – вид протяженных и однородных блоков, расположенных один подле другого, а не взаимопроникающих – не должен интерпретироваться букваль-

³¹ В свое определение империи как великой державы Доминик Ливен включает господство над “обширными территориями и многочисленными народами”, “управление пространством и полиэтничностью” (Lieven. *Empire*. P. xiv). Бросая вызов телеологическим импликациям и нормативной рамке концепции национального государства, Джейн Бурбанк и Марк фон Хаген полагают, что “безбоязненное обращение к империи как форме государственности позволяет нам изучить политики, основанные на различии, а не сходстве их подданных” (Burbank, von Hagen, Remnev. *Russian Empire: Space, People, Power*. P. 2).

но; вовсе не обязательно, что это соответствует пространственным характеристикам того, что репрезентируется. Представление гетерогенности в стиле Модильяни как противопоставление однородных блоков не означает, что эти блоки территориально локализованы. Эти составные части могут быть перемешаны в пространстве, поскольку их “отдельность” – ограниченность и внутренняя однородность – концептуально находятся не в физическом пространстве, а в социальном и культурном.³²

Для исследователей империи эта мысль Брубейкера означает, что политику и восприятие, обусловленные нациецентричной логикой, довольно просто принять за имперский механизм производства различий. Дело в том, что логика национализма и – более широко – модерна установка общественных наук и политики вовсе не чужды гетерогенности. Они также могут создавать и воспринимать плюрализм национальных притязаний на общую территорию, социальное пространство или государство. Важным различием между национальной и имперской когнитивной рамкой является то, что дискурс национализма и современный склад мышления могут помыслить соперников только в виде четко очерченных и внутренне однородных элементов культурного и социального пространства. Для ясности и чтобы подчеркнуть специфику нации как идеального типа, этот тип дискурса и политики можно назвать “стратегическим эссенциализмом” (используя термин Энн Стоулер). Он создает правильные и регулярные типологии, все элементы которых однопорядковы и потому сопоставимы между собой. Так, в логике стратегического эссенциализма различные элементы воображения и мифологии, форм социального и культурного статуса, ментальных карт территорий или внетерриториального мышления сплавляются вместе, порождая концепции нации, этнической группы, диаспоры, нацменьшинства, культурной группы – одной или нескольких (как в случае с национализующей политикой СССР). Общий знаменатель этого подхода следует искать не в содержании так или иначе обозначенной группности, а в специфике воображаемых и очерченных границ группы.

Противоположная логика, составляющая отличительную черту империи как идеального типа, может быть названа по аналогии “стратегическим релятивизмом”. Под этим мы понимаем дискурс и взгляд, реля-

³² Rogers Brubaker. Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism // John A. Hall (Ed.). The State of the Nation. Ernest Gellner and the Theory of Nationalism. New York, 1998. P. 296.

тивизирующие замкнутую и внутренне однородную природу составных частей социально-политического пространства и государственного управления. Логика стратегического релятивизма создает неправильные и нерегулярные типологии, элементы которых неоднопорядковы и неравномерны. Такая когнитивная рамка социально-политического взаимодействия и воображения создает ситуацию неопределенности, несоизмеримости и неразличимости, которые Энн Стоулер считает сущностными характеристиками “имперской формации”.

Для иллюстрации аналитической продуктивности нашей гипотезы стратегического релятивизма как отличительной когнитивной рамки идеального типа империи обратим внимание на парадоксальность буквального истолкования исторических формул, которыми когда-то выражали суть имперскости. Действительно, что специфически имперского в старой формуле “экспансия английской расы и английского государства” или в евразийской концепции органического территориального и культурного единства? Стоящие за ними намерения (но не полученный результат) можно наиболее аккуратно охарактеризовать как гомогенизацию социального и культурного пространства будущей нации. Разве понятие расы является исключительно имперским элементом господства и колониализма? И не лучше ли воспользоваться концепцией национализирующего государства (термин Роджерса Брубейкера), чтобы охарактеризовать политику царского режима по отделению “русских” от “иностранцев” в политическом пространстве поздней Российской империи? Эти парадоксы интерпретации доказывают, что логика современной рациональности и дискурса национализма пронизывает собой практику и дискурс исторических акторов модерности.

Внимательные исследователи империи, такие как Доминик Ливен и Рональд Суни, обратили внимание на трудность разделения идеальных типов империи и нации в контексте модернизирующихся империй. Они предположили, что, встречая вызовы модерности, империи неизбежно воспринимают стратегию национализации или колониализма, направленные на четкое разграничение национального ядра и иностранной периферии.³³

³³ Доминик Ливен полагает, что принятие национализирующего сценария в современных условиях было неизбежным: “Без сомнения, самым надежным способом сохранить империю было превращение как можно большей ее части в нацию” (Lieven. *Empire*. P. 281). Хотя Ливен видит затруднительность приложения взаимосвязанной пары – национализм и колониализм – к российской империи, он все равно пишет об изменении принципа управления российской империей с инкорпорирующей

Гипотеза стратегического релятивизма предлагает иное объяснение развития империй в свете вызовов современности. В качестве отправной точки обратимся к набору “имперских вопросов” в Российской империи, в своей совокупности все еще недостаточно осмысленных в историографии. Эти “вопросы”, включая “еврейский вопрос”, “мусульманский вопрос” и “польский вопрос”, не решались в рамках некой единой “национальной политики”, они мыслились партикуляристски и предполагали как особые законы, так и специфическое администрирование. Как заметил правовед и политический деятель времен поздней империи Борис Нольде, “система складывалась исторически и сохранила все пестроту исторического уклада”.³⁴ Говоря о западных окраинах России, Нольде отмечал: “Русское право никогда само не разбиралось систематически в том, что оно здесь творило; следы особенностей исчезли прежде, чем успели вылиться в форму единообразного и ясного акта, определяющего положение всей совокупности западных окраин; наше право знало лишь отдельные земли и индивидуально характеризовало их отношение к целому русскому государству”.³⁵ Эта фраза очень напоминает знаменитое высказывание британца Джона Роберта Сили (*John Robert Seeley*) (чей трактат во многом повлиял на Нольде) о “покорении и заселении половины мира... в припадке рассеянности”.³⁶ И Сили, и Нольде отмечали несоответствие социально-политической

стратегии на политику колониального исключения в начале XX века (*ibid.* P. 283). Рональд Суни развивает тезис “диалектики империи”, согласно которому империя как политическая форма встречается с вызовом национализма и отвечает программой национализации и реформирования, которая постепенно делает саму империю irrelevantной. Ronald Suny. *The Empire Strikes Out! Imperial Russia, “National” Identity, and Theories of Empire* // Ronald Suny and Terry Martin (Eds.). *A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin*. Oxford, New York, 2001. Pp. 23-66.

³⁴ Борис Нольде. *Очерки русского государственного права*. Санкт-Петербург, 1911. С. 280.

³⁵ Там же. С. 280-281.

³⁶ John Robert Seeley. *The Expansion of England. Two Courses of Lectures*. Leipzig: Bernard Tauchnitz, 1884. P. 17. Современные историки открыли для себя важность работ Нольде для объяснения российской имперской истории (Burbank, von Hagen, Remnev. *Russian Empire: Space, People, Power*. Pp. 3-4). Однако они не обратили внимания на идеологическую и интеллектуальную зеркальность имперского воображения, проявившуюся в том, что источником вдохновения для размышлений Нольде о Российской империи стала традиция британской политической мысли, в особенности Сили (Борис Нольде. *Англия и ее автономные колонии, исторический очерк* // *Вестник Европы*. Сентябрь 1906. № 5. С. 5-67).

логики империи современному складу мышления и управления, однако примечательно, что логика стратегического релятивизма, тем не менее, продолжала воспроизводиться, несмотря на ее иррациональность и неадекватность. Тем самым воспроизводилась неравномерная и многомерная гетерогенность империи. В своей статье в настоящем сборнике Марина Могильнер раскрывает релятивизирующую логику категории “смешанного физического типа”, широко использовавшейся наиболее влиятельной группой физических антропологов в Российской империи, а также их настойчивые усилия по противодействию эссенциализирующей логике совмещения расовой классификации с границами того или иного культурного или политического сообщества. Провозглашая себя выразителями наиболее рационального взгляда на политику, российские либералы в то же время использовали в своей программе и политической практике разнородную систему лозунгов и тактических приемов, ориентированных на мозаику партикуляризованных имперского пространства. Схожая позиция отмечается Ильей Герасимовым и в случае российского прогрессистского движения “социальной инженерии”, которое практиковало “малые дела” и “аполитичную политику” в эпоху высоких модернистских утопий. Развивая эту логику, можно предположить, что Советский Союз являлся империей в той мере, в какой использовался релятивизирующий потенциал категорий класса и национальности, создававший пространство неопределенности для политического вмешательства и переопределения социальной и политической принадлежности. Вероятно, современное отражение этой когнитивной рамки можно найти в языковой практике поколения постсоветских путешественников, которые на вопрос “вы русский?” (“Are you a Russian?”) уклончиво отвечают: “я из России”.

Материалы нашего сборника показывают, что стратегический релятивизм может являться результатом ситуации неравенства и непреднамеренным последствием политики, направленной на гомогенизацию социального и политического пространства. Что еще важнее, стратегический релятивизм как аналитическая идиома позволяет описать намерения и практику манипулирования разнообразием в модернизирующейся или неклассической империи, которые часто заслоняются образом имперской политики, якобы отражающей реально существующее географическое и социально-политическое разнообразие империи. Стратегический релятивизм может стать основой горизонтальной мобилизации сетевого типа в разобщенной социальной среде, но также и оказаться препятствием для возникновения недвусмысленного чувства групповой принадлежности.

Другими словами, аналитическая модель стратегического релятивизма оставляет место для различных нормативных оценок и суждений в зависимости от точки зрения наблюдателя. Исходя из этой аналитической реконструкции прошлого, можно восхвалять политику и обстоятельства, способствовавшие воспроизводству различий и препятствовавших ассимиляции, или осудить их как преграду на пути демократии и национальной консолидации. Возможность выведения разных оценочных суждений из аналитического языка описания имперского разнообразия свидетельствует в пользу предложенной аналитической идиомы. В то же время эта идиома обладает способностью описывать историческую инвариантность имперского опыта, преодолевая манихейское противопоставление империи и нации.

Империя: языки самоописания

Отказ от фокуса на структуралистских, эссенциалистских и функционалистских определениях империи в пользу более динамической модели конструирования и маркирования имперского опыта логически ведет к исследованию комплекса языков самоописания и саморационализации. Вместо обсуждения того, *что* такое империя, мы приглашаем наших читателей к размышлению о том, *что делает* определенные тропы и дискурсы имперскими. Таким образом, мы не претендуем на универсальную теорию или определение империи. Вместо этого мы предлагаем рабочую модель “имперской ситуации”, характеризующей напряженностью, несочетаемостью и несоразмерностью языков самоописания разных исторических акторов. Пристальный взгляд на конфликты и накладки этого “многоголосия” российского имперского опыта позволяет дать более точное определение исторически сложившегося разнообразия как главной характеристики имперской ситуации. Это разнообразие оказывается неравномерно локализованным, многоуровневым и динамичным. Опыт переживания различий пронизывает собой разрывы политического, социального и культурного пространства. Неравномерное и динамическое разнообразие является и результатом, и источником имперского стратегического релятивизма. Разнообразие имперской ситуации, воплощающее принцип стратегического релятивизма, не может быть описано в рамках какого-то одного внутренне непротиворечивого нарратива или каталогизировано на основе единых рациональных и столь же непротиворечивых принципов классификации. Наиболее яркое и красноречивое выражение имперской ситуации можно найти в известной новелле Борхеса:

Эти двусмысленные, приблизительные и неудачные определения напоминают классификацию, которую доктор Франц Кун приписывает одной китайской энциклопедии под названием “Небесная империя благодетельных знаний”. На ее древних страницах написано, что животные делятся на а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включенных в эту классификацию, и) бегающих как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) похожих издали на мух.³⁷

Изобретенная Борхесом, эта “китайская” имперская иррегулярная, просто умопомрачительная типология описывает ту самую специфическую неравномерную гетерогенность, которая не поддается нормальным классификациям и отвечает за уникальную историческую динамику. Эту динамику часто трудно уловить исследователю, подходящему к проблеме с аналитическим инструментарием, сформированным той или иной телеологической и монологической оптикой. Именно этим занимается большая часть историков империи, когда предпринимает попытку охватить имперскую гетерогенность при помощи аналитического инструментария современного обществоведения. Такой инструментарий зачастую сформирован логикой избирательного прочтения исторических языков рационализации империи и поэтому стремится редуцировать неравномерную гетерогенность имперского опыта до более простого одномерного разнообразия отдельных национальностей, регионов или конфессий.

Реконструируя особый имперский опыт как набор языков, мы низводим все богатство трудноуловимых “опытов” до системы непосредственных впечатлений от них и попыток их рационализации, но это позволяет нам “ухватить” имперский стратегический релятивизм в рамках парадигмы “лингвистического поворота”.

Центральной темой исследовательского проекта Новой имперской истории является эпистемологический и политический конфликт в империи, столкнувшейся с необходимостью более рациональной организации и систематизации ее разнообразия – чтобы стать более эффективной, управляемой, контролируемой или соответствующей идеологически новым политическим, философским или научным идеям. Поэтому авторы сборника обращаются к теме трансформации имперского поли-

³⁷ Хорхе Луис Борхес. Аналитический язык Джона Уилкинса // Он же. Проза разных лет. Москва, 1989. С. 218.

тического, социального и культурного пространства в ответ на вызовы Просвещения, национализма, модернизации, появления современного государства социальной инженерии (“*gardening state*”) и негативности определения империи по отношению к некому нормативному образцу политической группности. Опираясь в новой имперской истории на археологию языков имперского самоописания, мы не возрождаем догму Леопольда фон Ранке о написании истории так, “как она происходила”. Вместо этого мы предлагаем критический подход к империи как к контекстообразующей категории. Мы работаем с имперской ситуацией, которая делает специфику империи заметной. Империя обретает видимость либо в результате противоречий, вытекающих из неравномерной и несистематической гетерогенности, либо в итоге осознанных попыток сделать ее более управляемой и потому более рациональной.

Чтобы компенсировать неизбежную ограниченность подхода, сосредоточенного на языке, мы предлагаем трактовать “язык” максимально широко, как любую систему передачи значения, оперирующую стабильным репертуаром (“алфавитом”) универсально различимых знаков. Как показывает глава, написанная Ильей Герасимовым, социальный жест и даже вариации в рамках применения конвенционных практик могут рассматриваться как языки самоописания – то есть способ передачи исторического опыта при помощи доступных инструментов сигнификации. Серьезное отношение к языкам самоописания не означает буквальное их восприятие. Значительная часть современных имперских исследований посвящена критическому анализу скрытых механизмов господства и репрессии, содержащихся в риторике “великой державы” и “цивилизационной миссии” европейских государств по отношению к периферии. Целью нашего анализа является расширение конвенционных рамок изучения языков имперского самоописания. Исторический анализ должен уметь охватить такие ситуации, в которых уже используется имперская когнитивная рамка, но еще не выработаны соответствующие имперские языки. Это позволит понять историческую генеалогию когнитивной рамки имперского, внутренне противоречивого, самовосприятия и обнаружить силы и контексты, обеспечивавшие воспроизводство империи в условиях вызова со стороны модерности.

Следуя логике постколониальной деконструкции гегемонистских дискурсов, мы можем утверждать, что империя сама является “подчиненным другим” (“субалтерном”) для модерных социальных и гуманитарных наук, поскольку ее заставили “говорить” аналитическими и зачастую самоописательными языками, сформированными

модернистским национальным канонам. Целью нашего подхода является раскрытие множественности собственно имперских голосов, генеалогий и контекстов – и их соответствующая деконструкция. Вместо выявления неких уникальных и статичных форм социальной организации, запечатленных в идиосинкратических идиомах имперского самовыражения, авторы настоящего сборника совместно создают что-то вроде аналитического Розетского камня, рассказывая одну и ту же историю в разных аналитических модусах, сосредоточенных на империи и нации. Итоговая картина преодолевает распространенные дихотомии “империя – национальное государство”, “метрополия – колония”, “континентальная – заморская” и вскрывает сложность и даже двусмысленность конвенционных аналитических категорий, таких как гражданство, национальность, раса и суверенитет. Важно подчеркнуть, что кажущийся универалистским современный нациецентричный аналитический язык общественных наук часто скрывает реальное многообразие местных академических традиций, которые пользуются терминами и концепциями, лишь отчасти совпадающими друг с другом в случае перевода. Это значит, что сами современные аналитические модели, противопоставляемые языкам имперского самоописания, могут толковаться по-разному, тем самым еще больше усложняя задачу повествования о прошлом. Это затруднение становится заметным в результате последовательного следования “когнитивному повороту” в имперских исследованиях. Мы рассматриваем его как продуктивный вызов (на самом деле – один из целого ряда вызовов, о которых речь пойдет ниже), заставляющий исследователей с большей подозрительностью относиться к любым упрощающим объяснениям.

Описанный эпистемологический конфликт можно проиллюстрировать на примере недавней вспышки интереса среди немецких ученых к концепции “Herrschaft”. В то время как англоязычные историки с трудом решают задачу поиска подходящего слова для выражения домодерных и формально неинституциализированных форм власти, которые при этом также не опираются на косвенные (культурные и дискурсивные) механизмы контроля, находящиеся в распоряжении современных массовых обществ с высоким уровнем грамотности, их германские коллеги, кажется, обнаружили универсальное решение проблемы. Богатство коннотаций древнего понятия “Herrschaft”³⁸ по-

³⁸ Статья о множественности значений термина “Herrschaft” и их эволюции занимает 100 страниц в *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*. Bd. 3. Stuttgart, 1982. S. 1–103.

звонило стереть четкую грань между домодерными и модерными империями, поставив под сомнение роль государства как главного агента в деле управления, отправления власти и структурирования социального порядка.³⁹ Переосмысление *Herrschaft* как набора практик и обнаружение “наций” как социальных организаций еще до эпохи “наций-государств”⁴⁰ позволило интерпретировать “*Herrschaftsbildung*” как сложное гетерогенное пространство разнообразных групп, практик и отношений, не подверженных нормативной поляризации типологиями публичного/частного или социального/политического. Понимаемое таким образом, *Herrschaft* представляет набор практик структурирования власти, альтернативных нормативной веберовской схеме социальных наук.⁴¹ С таким пониманием сферы домодерной политики немецкие историки включились в дискуссию, начало которой положила книга “Миф абсолютизма” Николаса Хеншелла,⁴² которая сосредоточена на процессах территориализации и репрезентации власти монарха на региональном уровне. Не ограничиваясь констатацией существования “смешанной монархии” (*monarchia mixta*), они анализировали весь спектр “*Lebenswelten*” в империях раннего Нового времени.⁴³ Особое внимание уделялось эволюции Священной Римской империи (которая даже не являлась империей в строгом смысле, с точки зрения нормативных теорий), модусам ее самоописания⁴⁴ и, конечно, Габсбургской монархии.⁴⁵

³⁹ Wolfgang Reinhard. *Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart*. München, 1999.

⁴⁰ Hartmut Aden (Hg.). *Herrschaftstheorien und Herrschaftsphänomene*. Wiesbaden, 2004.

⁴¹ Edith Hanke and Wolfgang J. Mommsen (Hgs.). *Max Webers Herrschaftssoziologie. Studien zu Entstehung und Wirkung*. Tübingen, 2001.

⁴² Nicholas Henshall. *The Myth of Absolutism. Change & Continuity in Early Modern European Monarchy*. London, 1992.

⁴³ Cp. Angela Rustemeyer. *Dissens und Ehre. Majestätsverbrechen in Rußland (1600–1800)*. Wiesbaden, 2006 (*Forschungen zur osteuropäischen Geschichte* 69), которая отчасти следует за Nancy Shields Kollmann. *By Honor Bound: State and Society in Early Modern Russia*. Ithaca, NY, 1999.

⁴⁴ Barbara Stolber-Rilinger. *Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Vom Ende des Mittelalters bis 1806* (Broschiert). München, 2006, а также ее же *Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches*. München, 2008.

⁴⁵ Hans-Christian Maner. *Grenzregionen der Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert. Ihre Bedeutung und Funktion aus der Perspektive Wiens*. Muenster u. a., 2005; Johannes Feichtinger, Ursula Prutsch, and Moritz Csáky (Hgs.). *Habsburg postcolonial*. Innsbruck, 2003.

В категориях предлагаемой нами модели можно сказать, что немецкие историки использовали важный аналитический инструмент для остранения исторической реальности империи, одновременно обращаясь напрямую к старому понятию *Herrschaft* как аутентичному элементу языков самоописания домодерного мира. Однако сам по себе этот конкретный троп самоописания оказался неспособным разрешить эпистемологические проблемы, ради которых его возрождали. Требуется дальнейшая инструментализация этого понятия, что подразумевает, кроме всего прочего, возможность его непротиворечивого перевода на другие языки, при котором *Herrschaft* не сведется к уже имеющимся местным терминам вроде “суверенитета” или “власти”.⁴⁶ Что еще важнее, все равно необходима общая аналитическая модель, которая бы объяснила механизм действия *Herrschaft*: германские историки работают с концепциями территории, группности и социального действия, чтобы реконструировать акторов и агентов, производящих эффект *Herrschaft*. Другими словами, создавая иллюзию семантической преемственности через саму риторику исторического анализа, использование концепции *Herrschaft* по-прежнему требует применения современных аналитических моделей для достижения нового, более комплексного понимания прошлого. Устойчивость старого многозначного термина маскирует ту эпистемологическую проблему, о которой мы говорили выше, и подпитывает иллюзию, что исторический термин можно автоматически использовать в современном анализе, так же как наш аналитический аппарат можно беспрепятственно применить к другой эпохе.

Учитывая этот урок, мы пытались изучать языки самоописания, восстанавливать их генеалогию и рассматривать их функционально в рамках современного им контекста с целью перевода их на язык современных аналитических моделей, чтобы сделать имперский опыт адекватно понятным.

Империя и ее вызовы

Публикуемые в сборнике главы сгруппированы в соответствии с рядом “вызовов” имперскому порядку, которые позволяют выявить логику стратегического релятивизма, т.е. “увидеть” империю. По ор-

⁴⁶ См. попытки найти английские аналоги *Herrschaft* в Melvin Richter. *The History of Political and Social Concepts: A Critical Introduction*. Oxford and New York, 1995. Ch. 3.

ганизационным соображениям эти вызовы разделены на два больших кластера: вызовы интеграции и вызовы трансформации. Их можно представить как ситуации коммуникации с очень ограниченными возможностями взаимного перевода и понимания; они приводят к попыткам выработать четкие грамматические правила и стандарты для неупорядоченного имперского многоголосия. “Вызов” обозначает ситуацию, когда неравномерная и многослойная имперская гетерогенность, неупорядоченное имперское разнообразие перестают справляться с поддержанием статус-кво, когда “имперская ситуация” с ее логикой стратегического релятивизма перестает восприниматься как нечто естественное, как норма данного общества и политической системы. В главе, открывающей вторую часть сборника “Вызовы интеграции”, Ян Кусбер подчеркивает важность просвещенного екатерининского правления для переосмысления все более вестернизирующейся Российской империи, которая начинала восприниматься как неестественная и архаическая, как объект исследования, требующий открытий и внедрения новых принципов просвещенного знания и правления. Новая наука и моральная философия начали теперь определять значение империи и легитимность или нелегитимность имперского порядка. С точки зрения Екатерины II и ее ближайшего круга, Российская империя должна была приобрести специфические черты просвещенной политики и общества и породить новый тип интегрированного (если не универсального) имперского подданного. Эта логика изучения в направлении от управления территориями к управлению коллективными или индивидуальными подданными империи, которые со временем учатся использовать административные, культурные и политические инструменты имперской администрации в своих собственных интересах, далее развивается Сергеем Глебовым в его *longue durée* рассмотрении динамики интеграции и воспроизводства различий в Сибири. Этот раздел сборника завершается статьей Ханса-Кристиана Петерсена, который показывает, каким образом восприятие империи как контекста меняет привычные представления, сформированные классическими историями об империи, антиимпериализме и национализме. Имперский опыт сформировал язык национализма польской эмигрантской элиты XIX века, ее стратегические союзы, социологическую и идеологическую мысль в той же мере, в какой предопределил ее политическую программу. Империя в этой главе возникает не в роли сущности, порожденной жесткими внутренними структурами и постоянной внешней экспансией, и не как угнетатель поляков или их извечный антипод. Империя показана как

система координат для целого ряда идентичностей, которые постоянно переопределяются заново и подвергаются трансформации. Более того, все три случая показывают, что “имперскую ситуацию” можно обнаружить как в империях, так и в национальных государствах или национализирующихся сообществах и что инструменты имперской политики могут приводить к формированию наций, особенно когда они становятся формами коллективной субъектности.

Главы в третьей части сборника, “Вызов трансформации”, посвящены ситуациям, когда империю уже воспринимают как архаический феномен, которому недостает основных современных качеств и который поэтому нуждается в рационализации и трансформации. Марина Могильнер изучает проект середины XIX – начала XX вв., направленный на переосмысление Российской империи (с ее партикуляристскими системами идентификации через религию, “народность”, сословие или территорию), при помощи упорядоченного и универсального современного языка расовых различий. Этот проект модернизации инструментов отображения различий в имперском пространстве породил новое видение Российской империи как пространства смешанных и взаимосвязанных расовых типов. Само приложение современного языка новой науки к имперскому ландшафту, который был совершенно не изучен с естественнонаучной и социологической точки зрения (как полагали сами физические антропологи), обладало огромным модернизирующим и трансформирующим потенциалом и вело к непредвиденным последствиям. Александр Семенов развивает эту тему в контексте публичной политики думского периода, исследуя, как имперское разнообразие осмыслялось в возникающем новом политическом языке империи. Илья Герасимов обращается к проектам социальной инженерии, призванным компенсировать отсутствие в империи современных социальных и экономических групп. Проект общественной агрономии, ставивший целью трансформировать крестьян в сознательных экономических субъектов, заимствовал концепцию “социальной инженерии” из традиции американского прогрессивизма и соответственно переосмысливал реалии российской деревни.

Из этих разных сюжетов следует, что вызовы рационализации играли ключевую роль в остранении феномена империи и, следовательно, в развитии языков самоописания гетерогенного имперского пространства. Проблема состояла в том, что имперское самоотображение и избиравшиеся для этого языки использовали, так сказать, “неклассические” формы. Поэтому имперская “субалтерность” (если вспомнить

использованную выше метафору) предполагает особую стратегию анализа. Прежде всего, в силу своей гетерогенности (или “гибридности” – на языке современных субалтерных исследований) исследование империи не может быть сведено к одному сюжету, одному языку или одному источнику повествования. Во-вторых, модель “вызовов империи” ограничена периодом модерности (как бы ее ни определять) как контекстом, задающим ориентиры “нормы” и “другого”. Древние и средневековые империи также сталкивались с проблемами, будь то масштабные миграции населения или экологические катастрофы, и каждая искала собственное уникальное решение. Но те же самые вызовы заставляют империю выглядеть “субалтерном”, когда появляется общий консенсус по поводу того, что составляет “нормальный” или “цивилизованный” ответ на эти вызовы, что происходит под влиянием европейских гранднарративов “цивилизации” и “прогресса”. По иронии лишь складывание глобальной “империи знания” (а также “мировой экономики”, мирового политического порядка и пр.) способствует появлению универсального и весьма нелестного мерила любой имперской формации. До этого каждая империя могла считать себя самостоятельным космосом, но он закончился с возникновением вселенной “европейской” и “западной” модерности. Ментальная карта этой гуманистической вселенной оказывается структурированной “нациями” – собирательными человеческими “телами”, состоящими из индивидуумов, которых объединяет общая культура, религия и язык вместо прежних элементов солидарности: региона, династии или провинции. Таким образом, непременной частью эры рационализации оказывается система нормативных критериев, плохо совместимая с имперской ситуацией. Как видно из глав этого сборника, попытки рационализации поздней Российской империи лишь усиливали и конкретизировали существовавшие различия вместо того, чтобы приносить согласованность и гомогенизацию. То, что казалось рациональным в имперской логике, становилось абсурдным в свете нациецентричной эпистемы, а рационализация в духе модерности оказывалась разрушительной для империи.

Новая имперская история деконструирует предполагаемые однородность и универсализм исторической “империи”, которые приписываются ей в силу монологизма современной “империи знания”: на самом деле каждое имперское общество было прочно укоренено в собственном историческом контексте. В то же время концепция имперской ситуации дает нам аналитический инструмент для сравнительного

изучения множества уникальных обществ, поскольку они реагировали на различные вызовы в разных условиях при помощи схожих стратегий манипуляций различиями. Как и в случае более знакомых читателям субалтерных исследований (*subaltern studies*), рассматривая империю как одного из “подчиненных иных” современной эпистемы, мы не оправдываем совершенные ею насилия и несправедливости. Мы лишь пытаемся проблематизировать историческую реальность. Мы отказываемся категорически говорить об “имперском правлении” или “имперском господстве” по той же причине, по какой больше не говорим о “кроважидных дикарях”, умертвлявших белых колонистов, или о “мусульманских фанатиках”, или о “темных крестьянах”, участвовавших в Жакерии. Вместо этого мы различаем действующие лица и силы, которые образовывали “имперские формации” и “имперские ситуации”, демонстрируя иную рациональность и по-иному реагируя на вызовы логики ситуации. “Субалтерн” не всегда оказывается особо привлекательным или даже знакомым персонажем; моральная подоплека постколониальных исследований направлена на восстановление справедливости по отношению к тем, кто остался фигурой умолчания в доминирующем дискурсе. Мы призываем к интеллектуальной честности в изучении истории, к критическому анализу разных форм рациональности и рационализации прошлого.

SUMMARY

This is a Russian (and slightly edited) translation of the introduction to the volume *Empire Speaks Out: Language of Rationalization and Self-Description in the Russian Empire* (Boston and Leiden: Brill, 2009). The text traces the development of historical studies that, since the collapse of the Soviet Union, attempted to conceptualize the history of the Russian Empire as a space of domination, connexity, and diversity, and takes stock of the most recent attempts to theorize the problem of imperial government and the imperial space of social, religious, and cultural differences. The most recent trends under scrutiny include the rethinking of the history of the Russian Empire from the vantage point of borderland studies, confessional turn, and the comparative history of dynastic and composite imperial polities. Referencing the trends of historical study of empire outside of the Russian field and the revisionist trend of postcolonial studies